

18+

Макар Сильверштейн

Борьба



Макар Сильверштейн

Борьба

«Издательские решения»

Сильверштейн М.

Борьба / М. Сильверштейн — «Издательские решения»,

«Борьба» — вторая книга эпического фэнтезийного цикла о свободе и власти, вине и искуплении, цене сопротивления и одном произнесённом вслух «нет», способном разжечь пожар.

Содержание

Глава I: Боль одиночества	6
Глава II: Нежеланное дитя истории	11
Глава III: Пустоши орков	14
Глава V: Дамаск	26
Глава VI: Лошадка	30
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Борьба

Макар Сильверштейн

Дизайнер обложки Нурай Амангелды

© Макар Сильверштейн, 2026

© Нурай Амангелды, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0071-3165-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава I: Боль одиночества

Утро пришло — как приходит всегда, равнодушное к тому, кто умер и кто остался жить.

Владимир сидел на крыше, там же, где сидел всю ночь. Тела наёмников лежали вокруг него — застывшие, окоченевшие, с лицами, искажёнными последним ужасом. Их кровь впиталась в камень, оставив тёмные пятна, которые не смоет ни один дождь. Их глаза — те, что остались открытыми — смотрели в небо, которое светлело с каждой минутой, наливаясь бледным золотом.

Владимир не смотрел на них. Он смотрел вниз — туда, где в узком переулке между домами лежало тело Урмана.

Его друг упал неудачно. Или удачно — смотря как посмотреть. Он ударился о камни головой — той же головой, через которую прошла стрела — и теперь лежал в позе, которая могла бы быть смешной, если бы не была такой страшной. Руки раскинуты, ноги подогнуты, лицо — то, что от него осталось — обращено к небу.

Владимир должен был спуститься. Должен был забрать тело, похоронить его по-человечески. Должен был сделать хоть что-то.

Но он не мог.

Он сидел на краю крыши, свесив ноги, и смотрел вниз. И не мог заставить себя пошевелиться.

Солнце поднялось над горами, заливая Ара-Вайн светом — тёплым, золотистым, издевательски красивым. Город просыпался: где-то кричали торговцы, где-то блеяли козы, где-то плакал ребёнок. Обычное утро. Обычный день. Мир продолжал вращаться, не замечая, что один человек — один человек из миллиардов — больше не дышит.

Владимир наконец встал.

Его тело было деревянным, негнущимся, как будто за ночь он превратился в статую. Мышцы болели — от боя, от неподвижности, от чего-то ещё, чему не было названия. Он сделал шаг, потом другой, и каждый шаг давался с трудом, как будто он шёл по воде или по песку.

Он спустился с крыши — по той же лестнице, по которой поднялись наёмники. Прошёл через таверну — пустую, брошенную, хозяин которой сбежал ещё ночью, когда начались крики. Вышел на улицу — в переулок, где лежало тело.

Урман.

Владимир остановился в трёх шагах от него и посмотрел.

Стрела всё ещё торчала из его головы — вошла в затылок, вышла через левую глазницу. Кровь засохла на его лице, превратив его в маску — страшную, нечеловеческую. Его единственный оставшийся глаз был открыт, и в нём застыло удивление. Просто удивление — он даже не успел испугаться.

Владимир опустился на колени рядом с ним.

— Прости, — сказал он.

Слово было тихим, почти беззвучным. Оно упало в утреннюю тишину и растворилось, как капля в море.

— Прости, — повторил он. — Я не смог... я не успел...

Голос сорвался. Владимир сжал кулаки так, что ногти впились в ладони, и боль — маленькая, физическая, понятная — помогла ему удержаться. Не заплакать. Не закричать. Просто — удержаться.

Он провёл рукой по лицу Урмана — осторожно, как трогают что-то хрупкое. Закрыв его глаз. Снял стрелу — медленно, морщась от звука, который она издала, выходя из плоти.

— Я похороню тебя, — сказал он. — Здесь. В горах. Ты любил горы. Говорил, что они похожи на степи — только вертикальные.

Он попытался улыбнуться. Не получилось.

— Помнишь, как мы сбежали с корабля? Как плыли к берегу, и ты говорил, что вода слишком холодная? А я сказал — терпи, свобода того стоит.

Он помолчал.

— Стоила ли?

Ответа не было. Ответа и не могло быть — мёртвые не разговаривают, какими бы близкими они ни были при жизни.

Владимир поднял тело Урмана на руки. Оно было тяжёлым — тяжелее, чем он помнил. Или это он сам стал слабее за эту ночь?

Он понёс его прочь — из города, из этого проклятого места, туда, где красные скалы поднимались к небу, как застывшие волны.

Он похоронил Урмана на склоне горы, в том месте, откуда открывался вид на долину. Копал могилу руками — меч был слишком ценен, чтобы использовать его как лопату, а ничего другого у него не было. Земля была жёсткой, каменистой, и его пальцы стёрлись в кровь, прежде чем он выкопал достаточно глубокую яму.

Он опустил тело на дно. Сложил руки Урмана на груди — так, как складывают руки воинам в историях, которые он слышал когда-то, в другой жизни. Положил рядом его нож — тот самый нож, которым Урман убил матроса на корабле, в ту ночь, когда они сбежали.

— Ты был хорошим человеком, — сказал Владимир. — Сломанным, может быть. Но хорошим. Ты не заслуживал... этого.

Он начал засыпать могилу.

Земля падала на тело — комком за комком — и с каждым комком что-то внутри Владимира умирало тоже. Не целиком, не сразу — по кусочкам, как умирает огонь, когда кончаются дрова.

Когда могила была засыпана, он сложил на ней камни — те, что нашёл рядом. Не памятник — просто груда камней, которая скажет случайному путнику: здесь кто-то лежит. Здесь кто-то был.

Он постоял над могилой — долго, не считая времени. Солнце поднималось всё выше, и тени становились короче, и мир вокруг него продолжал жить, как жил всегда.

Потом он повернулся и пошёл обратно в город.

Но в таверну вернулся не сразу.

Владимир сделал крюк к поместью Гандсурбала. Выбитые ночью ворота висели на одной петле, двор опустел, двери дома стояли открытыми. Хозяин бежал, забрав людей, золото и всё, что можно было увезти до рассвета. В конюшне прятался только мальчишка с разбитой губой — тот не успел уйти вместе с остальными и теперь надеялся, что новый грабитель его не заметит.

— Сереброволосая эльфийка, — сказал Владимир. — Где она?

Мальчишка сначала поклялся, что ничего не знает. Потом увидел монету на ладони Владимира и вспомнил крытую повозку. Её запрягли ещё до того, как Гандсурбал уехал из города. Внутри сидела женщина со связанными руками. Повозка ушла через северные ворота под охраной шестерых всадников.

— Господин велел говорить, что отправил её в другое поместье, — пробормотал мальчишка. — Но у него нет поместий на севере. Там только Белые степи и люди Костуни. Он торговал с ними. Они привозили пленников, он платил золотом.

У северных ворот караульный за вторую монету подтвердил: крытая повозка с печатью Гандсурбала выехала до заката и взяла дорогу через перевал. В дорожной книге не было ни имени женщины, ни места назначения. Только два слова: «Белые степи».

След был слабым. За ночь повозка могла уйти далеко, а за перевалом дорога распадалась на десятки кочевых троп. Но след существовал.

Комната в таверне была такой же, какой он её оставил. Две койки — одна смятая, другая нетронутая. Стол с огарком свечи. Окно, через которое пробивался свет. И вещи — их вещи, разбросанные по углам.

Владимир сел на койку Урмана.

Он не знал, зачем. Просто сел — и почувствовал, как под ним прогибается солома, как ткань покрывала пахнет чем-то знакомым. Запах Урмана. Запах пота, и дыма, и чего-то ещё — чего-то, что было только его.

Траур.

Владимир не знал, как это делается. Он никогда никого не терял — по-настоящему, так, чтобы болело. Его родители умерли, когда он был слишком мал, чтобы помнить. Люди, которых он знал потом, приходили и уходили — и он не позволял себе привязываться. Это было правило. Единственное правило, которое он никогда не нарушал.

До Урмана.

Урман был другим. Он не был другом — это слово казалось слишком маленьким, слишком простым для того, что было между ними. Он был... товарищем. Братом. Тем, кто стоял рядом, когда весь мир был против. Тем, кто не предавал — потому что не умел предавать.

И теперь его не было.

Владимир сидел на койке и чувствовал, как что-то внутри него рвётся. Не резко, не сразу — медленно, как рвётся ткань под тяжестью, которая всё увеличивается. Он не плакал. Он разучился плакать давным-давно, в тех подвалах и тюрьмах, где слёзы были роскошью. Но что-то — что-то выходило из него, и он не мог это остановить.

Он сидел так долго. Час, может быть, два. Свет в окне менялся, тени двигались по стенам, и мир за окном жил своей жизнью — равнодушный, как всегда.

Потом он встал.

Нужно было что-то делать. Нужно было двигаться, действовать, иметь цель. Без цели — он знал это — он умрёт. Не физически, может быть. Но внутри. Там, где это имеет значение.

Борша.

Ильдрия.

Два имени, и оба вели на север.

Ильдрия назвала Боршу своим братом и сказала, что их деревню сожгли люди Костуни. Теперь Гандсурбал отправил её к тем же людям — или сам повёз туда, надеясь укрыться за их мечами. Если Борша выжил, искать его следовало там же, среди северных племён. Если не выжил — Ильдрия могла оказаться единственным человеком, который знал, что с ним случилось.

Муаммар велел найти Боршу и получить распоряжения. Владимир не выполнил поручение в Ара-Вайне, но это ещё не означало, что поручение было невыполнимым. Просто дорога оказалась длиннее, чем он думал. И цена её стала выше.

Он пойдёт на север. Через земли кочевников, через Белые степи — по следу повозки. Найдёт Ильдрию. Найдёт Боршу, если тот жив. А если не найдёт — по крайней мере, не позволит последнему обещанию, данному Урману, исчезнуть вместе с ним.

Цель была слабой нитью, но Владимир ухватился за неё. Впервые после смерти Урмана у него появилось дело, которое не ограничивалось пережить следующий день.

Он начал собирать вещи.

Это не заняло много времени — у него почти ничего не было. Меч, который он забрал у одного из наёмников. Нож — свой, тот, что носил с побега. Мешочек с золотом — то, что осталось от денег Муаммара. Одежда — та, что была на нём, и запасная рубаха.

Он сложил всё в сумку и остановился.

Вещи Урмана.

Они лежали в углу — небольшая куча, которая была всем, что осталось от человека. Сумка, потёртая, с дырой на боку, которую Урман всё собирался зашить, но так и не собрался. Плащ — тяжёлый, из грубой шерсти, пахнувший дымом и потом. Фляга — пустая теперь, но Урман таскал её с собой везде, говорил, что она приносит удачу.

Владимир смотрел на эти вещи и чувствовал, как что-то сжимается в груди.

Нельзя оставить их здесь. Нельзя бросить, как бросают мусор. Это — всё, что осталось от Урмана. Всё, что доказывает, что он существовал. Что он жил, дышал, смеялся, злился, мечтал о чём-то.

Владимир подошёл и опустился на колени рядом с вещами.

Он открыл сумку.

Внутри было немного: запасные носки, кусок сухаря, который Урман, видимо, припрятал на чёрный день. Моток верёвки — тонкой, прочной. Огниво. И что-то ещё — что-то, завернутое в тряпку, на самом дне.

Владимир достал это.

Развернул.

Внутри была вещь, которую он никогда не видел раньше. Маленькая — умещалась на ладони. Деревянная — вырезанная из какого-то тёмного дерева, отполированная временем и прикосновениями. Фигурка.

Лошадь.

Маленькая деревянная лошадь, вырезанная грубо, но с любовью. С гривой, которую кто-то старательно прорисовал. С глазами — двумя точками, которые смотрели на мир с тем выражением, которое бывает у детских игрушек.

Владимир держал её в руках и смотрел.

Урман никогда не рассказывал о своём прошлом. Не рассказывал о семье, о детстве, о том, кем был до того, как попал на галеры. Владимир не спрашивал — у каждого есть право на свои тайны.

Но эта лошадь...

Кто-то вырезал её для Урмана. Давно, много лет назад. Может быть — отец, тот самый отец из степей, которого Урман никогда не видел. Может быть — мать. Может быть — кто-то ещё, кто любил его, когда он был ребёнком, когда мир ещё не успел его сломать.

Урман носил её с собой всё это время. Через галеры. Через рабство. Через побег. Через пустыню. Через всё.

Владимир сжал фигурку в кулаке.

— Я сохраню её, — сказал он вслух. — Сохраню для тебя.

Он положил лошадь в свою сумку — рядом с золотом, рядом с ножом, рядом со всем, что было ему дорого. Потом взял плащ Урмана и накинул на плечи — поверх своего. Он был тяжёлым, слишком тёплым для этого климата. Но Владимир не снял его.

Это была последняя связь. Последнее, что связывало его с человеком, которого больше не было.

Ара-Вайн провожал его молчанием.

Улицы были пусты — слух о ночной резне разошёлся быстро, и люди прятались по домам, не желая попадаться на глаза человеку, который отбил от семерых наёмников за одну ночь. Владимир шёл через город — по лестницам, по переходам, мимо домов, вырубленных в скале — и никто не смотрел ему в лицо.

Это было хорошо. Он не хотел, чтобы на него смотрели.

У городских ворот — там, где дорога уходила на север, в горы, а потом — в степи, которые лежали за ними — он остановился. Обернулся. Посмотрел на Ара-Вайн в последний раз.

Красные скалы. Древние дома. Город, который видел тысячи таких, как он, и забудет его через час после того, как он уйдёт.

— Прощай, — сказал Владимир.

Не городу — Урману. Тому, кто остался лежать на склоне горы, под грудой камней, с видом на долину.

Потом он повернулся и пошёл вперёд на север.

Глава II: Нежеланное дитя истории

Горы Аль-Кадир изменились.

Или, может быть, изменился Амир — и теперь видел их другими глазами. Те же вершины, закутанные в облака. Те же ущелья, где снег лежал даже в разгар лета. Те же тропы, по которым он бегал каждое утро, пока лёгкие не начинали гореть. Но что-то было другим. Что-то в том, как свет падал на камни. Что-то в том, как ветер пел между скалами. Что-то в том, как тишина обнимала его, когда он сидел на краю обрыва и смотрел на мир внизу.

Прошёл год.

Год — и ещё немного. Четыреста двенадцать дней, если считать точно. Четыреста двенадцать рассветов, которые он встречал бегом по горным тропам. Четыреста двенадцать закатов, которые он провожал с мечом в руках, отрабатывая удары, пока тело не отказывалось слушаться. Четыреста двенадцать ночей, когда он лежал на жёсткой лежанке в пещере и думал — о прошлом, о будущем, о том, кем он был и кем становился.

Он изменился.

Не только телом — хотя тело изменилось тоже. Исчезла мягкость, которая была наследием дворцовой жизни. Появилась жёсткость — в мышцах, в движениях, в том, как он держал себя. Его руки, которые когда-то знали только перо и книги, теперь были покрыты мозолями от меча. Его плечи, которые когда-то сутулились под тяжестью изгнания, теперь были расправлены, как у человека, который знает себе цену.

Но главное изменение было внутри.

Ненависть — та ненависть, которая сжигала его три года, которая была его топливом и его проклятием — ушла. Не сразу, не вдруг. Медленно, по капле, как вода уходит из треснувшего сосуда. Он не простил Рашида — нет, прощение было бы ложью. Но он перестал гореть. Перестал просыпаться с именем брата на губах, как с проклятием. Перестал видеть его лицо в каждом враге, которого побеждал на тренировках.

Он отпустил.

И это — это было самым трудным, что он сделал в своей жизни.

— Масиаф, — сказал Хасан.

Они сидели у костра, как сидели каждый вечер — по разные стороны огня, глядя на пламя, которое плясало между камнями. Хасан провёл рукой по щетине — жест, который Амир научился узнавать за этот год. Жест, который означал: сейчас будет что-то важное.

— Масиаф — это город, — продолжал Хасан. Его голос был тихим, задумчивым. — Город забирает всё. Рабство может сломать человека, но забрать душу может только толпа. И этой толпе клеткой служит Масиаф.

— Скажи, Амир, — голос Хасана был тяжёлым, как камень. — Тебе жалко своего брата?

Что-то внутри Амира щёлкнуло. Он сам не ожидал услышать от себя следующий ответ.

— Да, — сказал Амир. — Мне жалко Рашида.

Ещё год назад — ещё полгода назад — он бы рассмеялся, если бы кто-то сказал ему, что он произнесёт такое. Рашид — убийца отца, похититель трона, человек, который унизил его, изгнал, оставил умирать. Рашид — чудовище, которое заслуживало только смерти.

Но сейчас Амир смотрел в огонь и видел не только чудовище.

— Он был моим братом, — сказал он. — Мы росли вместе. Играли в одни игры. Учились у одних учителей. Я помню, как он защитил меня однажды. Мне было семь, ему — двенадцать. Какие-то мальчишки из прислуги издевались надо мной, и Рашид избил их. Всех троих. Отец велел высечь его за драку, но он не выдал меня. Не сказал, из-за чего всё началось.

Хасан не шевельнулся. Только взгляд его стал внимательнее — будто он услышал в этих словах не оправдание, а попытку понять.

Огонь потрескивал. Ветер выл в ущельях.

— Что случилось с ним? — продолжал Амир. — Что превратило того мальчика — того, кто защищал младшего брата — в человека, который убил собственного отца? Который продал свою страну? Который... — Амир не закончил фразу.

Хасан молчал. Он смотрел на Амира так, как смотрел весь этот год — оценивающе, но без осуждения. Как учитель смотрит на ученика, который наконец начинает понимать.

— Власть, — сказал Амир. — Власть сделала это с ним. Жажда власти. Страх потерять то, что никогда не было его. Он был старшим, но отец выбрал меня. Рашид считал трон своим по праву — и мысль, что власть достанется не ему, сожгла его изнутри. Превратило в того, кем он стал.

Он поднял голову и посмотрел на Хасана.

— Мне жалко его, потому что он потерял себя. Потерял того мальчика, которым был когда-то. И теперь — теперь он просто оболочка. Пустота, которая пытается заполнить себя властью, золотом, страхом других. Но это не работает. Это никогда не работает.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я был таким же. — Амир криво усмехнулся. — Три года я был таким же. Пустотой, которая пыталась заполнить себя ненавистью. Я думал, что если убью его — стану целым. Что месть даст мне то, чего не хватает. Но ты был прав, Хасан. Ты был прав с самого начала.

— В чём?

— В том, что ненависть — это яд. Она не делает тебя сильнее. Она делает тебя... им. Рашидом. Пустотой, которая пожирает всё вокруг, но никогда не насыщается.

Хасан кивнул — медленно, как кивают люди, когда слышат то, что давно знали сами.

— Ты вырос, — сказал он.

— Я изменился.

— Это одно и то же.

Они сидели в тишине — долго, не считая времени. Огонь догорал, превращаясь в угли, и звёзды проступали на небе одна за другой, как огоньки далёких костров.

— Что теперь? — спросил Амир.

Хасан провёл железными пальцами по камню у костра.

— Теперь ты готов спуститься с гор.

— И куда идти?

— Это решишь ты. Но сначала выслушай.

Хасан рассказал о вести, дошедшей до него с западной дороги. Человек по имени Владимир — беглый раб, которого Муаммар отправил искать Боршу, — покинул Красные горы и пошёл на север. Его спутник погиб. Сам Владимир не повернул назад.

— Помнишь легенду о человеке, который выйдет из тьмы? — спросил Хасан.

— Помню. Ты говорил, что в ней нет ни имени, ни обещанного исхода.

— И не появилось. Легенда не назначает Владимира спасителем. Она вообще никого не назначает. Она говорит лишь о человеке, который, потеряв всё, всё-таки решит подняться. Таких много. Большинство снова упадут.

— Но ты думаешь, что речь о нём.

— Я думаю, его дорога может стать важной. Это не одно и то же.

Амир посмотрел на север — туда, где за горами лежали степи и земли, известные ему только по книгам.

— Ты хочешь, чтобы я встал рядом с ним?

— Нет. Я хочу, чтобы ты нашёл его и посмотрел своими глазами. Если сочтёшь его путь верным — пойдёшь рядом. Если нет — пройдёшь мимо. Если он сочтёт недостойным тебя, пройдёт мимо он. В этом и состоит выбор.

— Откуда ты знаешь, что я вообще его найду?

— Не знаю.

Ответ был простым и потому убедительным.

Амир поднялся. Горы Аль-Кадир окружали его — те же вершины, те же ущелья, тот же ветер. Но впервые за год они казались не убежищем, а порогом.

— Когда выходим? — спросил он.

— Ты выйдешь на рассвете, — ответил Хасан. — Я останусь.

— Почему?

— Потому что, пока я рядом, ты выбираешь только между послушанием и непослушанием мне. На настоящей развилке этого мало.

Хасан тоже встал. На его суровом лице появилась едва заметная улыбка.

— Я — нежеланное дитя этой истории, не тот, о ком привыкли слагать поэмы. Моё дело — иногда указать на дорогу. И исчезнуть прежде, чем меня примут за судьбу.

— Я ещё увижу тебя?

— Когда буду необходим.

— Как ты меня найдёшь?

— Так же, как нашёл в первый раз.

Хасан положил живую руку на плечо Амира — тяжёлую, твёрдую, тёплую.

— Иди на север. И помни: ни легенда, ни я, ни мёртвый брат не выберут за тебя.

Глава III: Пустоши орков

Пустоши начинались там, где заканчивалась надежда.

Ульрика увидела их на рассвете третьей недели пути — бескрайнюю равнину, которая тянулась до горизонта и дальше, за горизонт, в ту даль, которую человеческий глаз не мог охватить. Земля здесь была красной — не как в Красных горах, где красноту давало железо, а иначе. Глубже. Темнее. Как будто сама почва пропиталась кровью тех, кто умирал на ней веками.

Здесь не росло почти ничего. Редкие кусты — колючие, корявые, цепляющиеся за жизнь с упрямством, которое вызывало уважение. Трава — жёлтая, жёсткая, хрустящая под копытами лошадей. И кости. Много костей — белеющих на солнце, разбросанных по равнине, как камни, которые бросил великан, играющий в какую-то страшную игру.

— Пустоши орков, — сказал Муаммар.

Его голос был тихим, почти благоговейным — и это было странно, потому что Ульрика никогда не слышала благоговения в голосе старика. Страх — нет. Уважения — иногда. Но благоговения?

— Ты боишься их? — спросила она.

— Нет. — Муаммар покачал головой. — Боюсь — нет. Но уважаю. Это единственный народ, который Карфаген не смог покорить. Единственный, который до сих пор свободен.

Ульрика посмотрела на равнину — на эту бескрайнюю пустоту, которая казалась мёртвой, но которая, она знала, была полна жизни. Жизни, которая пряталась, выжидала, наблюдала.

— Расскажи мне о них, — сказала она.

Муаммар рассказывал, пока они ехали.

Его голос был монотонным, почти напевным — голосом человека, который рассказывает историю, которую слышал тысячу раз и расскажет ещё тысячу. Голосом сказителя, хранителя памяти.

Орки пришли с востока — из земель, которые лежали за Великой пустыней, за горами, за краем известного мира. Никто не знал, откуда именно. Никто не знал, почему они ушли оттуда. Легенды говорили разное: одни — что их изгнали боги, другие — что они бежали от чего-то страшного, третьи — что просто искали новый дом.

Несколько столетий назад — точную дату не помнил никто — они двинулись на север.

Это было нашествие, которое изменило лицо мира. Орки шли волнами — племя за племенем, орда за ордой — и всё, что стояло на их пути, падало. Далигария — древнее королевство, которое славилось своими магами и учёными — была окружена. Её города горели один за другим, её армии гибли в бесконечных битвах, и в конце концов то, что осталось от Далигарии, оказалось заперто — в кольце орочьих земель, отрезанное от остального мира.

— Что с ними стало? — спросила Ульрика.

— Никто не знает. — Муаммар пожал плечами. — Далигария закрылась. Ни один путник не входил туда уже двести лет. Ни один не выходил. Может быть, они мертвы — все до единого. Может быть, живы — за своими стенами, в своих городах, отрезанные от мира. Может быть, стали чем-то другим. Мы не знаем.

Тилия пала следующей. Не от орков — от Карфагена. Нашествие ослабило её, истощило армии, разрушило экономику. И когда карфагенские легионы пришли — Тилия не смогла сопротивляться. Она стала провинцией империи — одной из многих, раздавленной, покорённой, забывшей, что когда-то была свободной.

Эсталия устояла — но только потому, что орки повернули назад. Почему — никто не знал. Может быть, им надоело воевать. Может быть, они нашли то, что искали. Может быть — и эта версия была самой страшной — они просто ждали.

— Ждали чего?

— Момент. — Муаммар посмотрел на неё своими белыми глазами. — Орки не похожи на людей. Они думают иначе. Чувствуют иначе. Время для них — не то, что для нас. Они могут ждать столетиями, если нужно. Ждать, пока мир изменится. Пока звёзды встанут правильно. Пока придёт тот, кого они ждут.

Орки не были едины.

Это была первая вещь, которую нужно было понять о них — и самая важная. Тринадцать племён, тринадцать вождей, тринадцать способов жить и умирать. Они воевали друг с другом так же часто, как воевали с внешним миром — может быть, даже чаще. Союзы заключались и рушились, границы двигались, вожди убивали друг друга за власть, за землю, за честь.

Муаммар называл их имена — и каждое имя звучало, как удар барабана.

Гром-Кар — племя воинов, которые жили только войной. Их вождя звали Кровавый Клык, и говорили, что он убил тысячу врагов своими руками.

Теневые Кости — племя охотников, которые двигались бесшумно, как призраки, и нападали ночью, когда жертвы не ждали.

Дети Пепла — племя, которое жило у вулканов на востоке и поклонялось огню, как богу.

И другие — десять других, каждое со своей историей, своими традициями, своими врагами и союзниками.

— Они ненавидят друг друга, — сказала Ульрика. — Как они могут быть угрозой?

— Потому что однажды они объединятся. — Голос Муаммара был тяжёлым. — Так говорит их пророчество. Так верят они все — каждое племя, каждый орк. И когда это случится...

Он не закончил фразу. Не нужно было.

Пророчество.

Ульрика слышала о нём — краем уха, в обрывках разговоров, в историях, которые рассказывали у костров. Но Муаммар рассказал ей всё — так, как рассказывают вещи, которые нужно знать.

Орки верили, что однажды родится ребёнок. Не обычный ребёнок — особенный. Сын орка и эльфа. Существо, которое соединит в себе два мира, две крови, две судьбы. Существо, которого не должно быть — но которое будет.

Этот ребёнок объединит племена. Все тринадцать — впервые в истории. Он закончит войны между ними. Он даст оркам то, чего у них никогда не было.

— Что именно? — спросила Ульрика.

— Возможность жить как все остальные. — Муаммар повернулся к ней. — Орки — изгои. Везде, всегда. Их боятся, их ненавидят, их убивают при первой возможности. Они не могут торговать с другими народами. Не могут жить рядом с ними. Не могут быть частью мира — только его врагами.

— И пророчество изменит это?

— Так они верят. Так они надеются. — Старик помолчал. — Надежда — странная вещь. Она может быть оружием. Может быть ядом. Может быть тем, что держит народ вместе, когда всё остальное рушится.

Ульрика думала об этом, пока они ехали через пустоши. Думала об орках — об этом народе, который весь мир считал чудовищами. Думала о пророчестве — о ребёнке, который соединит несоединимое. Думала о надежде — и о том, что она делает с людьми.

И с теми, кого люди отказывались считать своими.

На четвёртый день пути Муаммар остановился.

Они стояли на вершине холма — одного из немногих в этой плоской, как стол, равнине. Перед ними лежала долина, а за долиной — горы. Тёмные, острые, похожие на зубы чудовища, которое пыталось прогрызть небо.

— Там, — сказал Муаммар, указывая на восток. — За этими горами.

— Что там?

— Далигар. Или то, что от него осталось. — Он помолчал. — И восточнее — Варил.

Ульрика посмотрела туда, куда он указывал. Горы казались непроходимыми — стеной, которую невозможно преодолеть.

— Варил, — повторила она. — Ты говорил о городе, который закрывает небеса.

— Да. — Муаммар кивнул. — Город башен. Город, который построили ещё до того, как люди научились писать. Его самая высокая башня — Игла Неба — поднимается так высоко, что в ясный день её видно за сто миль. Говорят, что с её вершины можно увидеть край мира.

— Зачем мы туда идём?

Муаммар не ответил сразу. Он смотрел на горы — на эту стену из камня и льда — и его белые глаза были неподвижными, как у статуи.

— Потому что там могут быть ответы, — сказал он наконец. — И след.

— След Мутассима?

Муаммар едва заметно сжал поводья. Имя сына всё ещё действовало на него сильнее любой угрозы.

— Три недели назад караванщик видел у перевала молодого бедуина со знаком дома Аль-Фахри. Описание похоже. Тот спрашивал дорогу в Варил.

— Почему ты не сказал мне раньше?

— Потому что это может быть не он.

— Но ты надеешься.

— Надежда и знание — разные вещи.

Он снова посмотрел на горы.

— В Вариле могут быть и другие ответы. Кто ты. Зачем ты здесь. Что тебе делать дальше. Ты думаешь, что ты просто беглая рабыня, которую подобрал странный старик. Но это не так. Ты — часть чего-то большего. Чего-то, что началось задолго до твоего рождения и закончится нескоро после твоей смерти.

Ульрика смотрела на него — на этого человека, который спас её, который убил Рашида одним ударом меча, который вёл её через пустыню и пустоши, не объясняя зачем.

— Ты знал это с самого начала, — сказала она. — Знал, кто я. Знал, что я важна. Поэтому ты меня спас.

— Да.

— Почему ты не сказал раньше?

— Потому что ты не была готова услышать. — Муаммар тронул коня и начал спускаться с холма. — Теперь — может быть — готова. Может быть.

Ульрика смотрела ему вслед несколько секунд. Потом тронула свою лошадь и последовала за ним.

— Капюшон, — сказал Муаммар.

Его голос был тихим, но в нём звенела сталь — та сталь, которую Ульрика научилась узнавать за месяцы пути. Голос, который не допускал возражений.

— Что?

— Накинь капюшон. Сейчас.

Ульрика не стала спрашивать почему. Она просто сделала то, что он сказал — натянула капюшон плаща так, чтобы он скрывал лицо, волосы, уши. Особенно уши — те самые уши, которые выдавали её кровь яснее любых слов.

И только потом она увидела их.

Всадники. Десять, может двенадцать — выехали из-за скалы, перекрывая тропу. Их кони были крупными, чёрными, с бляхами на сбруе, которые блестели на солнце. Их одежда была одинаковой — тёмно-синие плащи, кожаные доспехи, шлемы с гребнями из конского волоса. Патруль. Военный патруль, хорошо вооружённый и явно не расположенный к дружеской беседе.

Впереди ехал капитан — Ульрика поняла это по перьям на шлеме и по тому, как держались остальные. Он был немолод, с лицом, изрезанным шрамами, и глазами, которые смотрели на мир так, словно ничего хорошего от него не ждали.

— Стоять, — сказал он, поднимая руку.

Муаммар остановился. Ульрика — рядом с ним, чуть позади, как и положено слуге или спутнику.

Капитан подъехал ближе. Его глаза — тёмные, внимательные — скользнули по Муаммару, по Ульрике, по их лошадям, по сумкам. Оценивающий взгляд. Взгляд человека, который ищет угрозу — или возможность.

— В наших землях давно не было путников, — сказал он. Голос его был хриплым, как у человека, который слишком много кричал. — Обычно с западной дороги тащат болезни да эльфийскую скверну. На вас пока ни того ни другого не видно.

Ульрика почувствовала, как что-то вспыхнуло внутри неё. Скверна эльфов. Она слышала это раньше — в Карфагене, в Сардонии, везде, где люди смотрели на неё с презрением и страхом. Но здесь, в этих землях, которые казались такими далёкими от всего, что она знала, — здесь эти слова резали особенно больно.

Она сжала поводья так, что побелели костяшки. Но не шевельнулась. Не подала знака. Не позволила себе ничего — ни слова, ни жеста, ни взгляда.

Муаммар научил её и этому.

— Мы простые путники, — сказал старик. Его голос был ровным, почти скучающим. — Идём с запада. Ищем приют.

— С запада? — Капитан прищурился. — Через хребет Руиза?

— Да.

Молчание. Тяжёлое, давящее. Солдаты за спиной капитана переглядывались — Ульрика видела это краем глаза. Что-то было не так. Что-то в том, как они смотрели, как держали руки на оружии.

— Судья-администратор Марцел Руиз закрыл границы, — сказал капитан наконец. Его голос стал жёстче. — Приказ — не пропускать никого, кто проходит через хребет. Никого.

— Почему?

— Не твоё дело, старик. — Капитан подъехал ещё ближе. — Разворачивайтесь. Возвращайтесь туда, откуда пришли.

Муаммар не двинулся. Он сидел в седле — неподвижный, спокойный, как будто слова капитана были не угрозой, а просто шумом ветра.

Потом он медленно — очень медленно — опустил руку к седельной сумке. Солдаты напрялись, руки метнулись к мечам, но Муаммар достал не оружие.

Мешочек. Небольшой, но тяжёлый. Он звякнул, когда старик положил его в руку капитана — тем самым звуком, который невозможно спутать ни с чем.

Золото.

Капитан посмотрел на мешочек. Потом — на Муаммара. Потом — снова на мешочек. Его лицо не изменилось, но что-то в глазах — что-то сдвинулось. Расчёт. Жадность. Осторожность.

— Мы простые путники, — повторил Муаммар. — Беженцы с крайних земель. Ищем приют.

Пауза.

Капитан взвесил мешочек в руке. Развязал, заглянул внутрь. Его губы дрогнули — едва заметно, но Ульрика увидела.

— Беженцев с крайних земель, — сказал он медленно, — принимают в вольном городе Варе. —

— Варе?

— Вольный город. — Капитан спрятал мешочек под плащ. — Не подчиняется судье-администратору. Имеет свои законы. Принимает... всех.

Он произнёс последнее слово так, словно оно было грязным. Словно «всех» означало что-то постыдное.

— Как туда попасть?

— Прямо по тропе. — Капитан развернул коня. — День пути, может меньше. Увидите башню — не ошибётесь.

Он махнул рукой своим людям, и патруль двинулся прочь — так же внезапно, как появился. Через минуту они скрылись за скалой, и только пыль, поднятая копытами, напоминала о том, что они были здесь.

Ульрика выдохнула.

Она не заметила, что задержала дыхание — всё время, пока капитан говорил, пока смотрел на неё, пока его слова о скверне эльфов висели в воздухе.

— Можешь снять капюшон, — сказал Муаммар.

— Скверна эльфов. — Ульрика не сняла капюшон. Её голос был тихим, но в нём звенела злость. — Они говорят о нас так, словно мы — болезнь. Словно само наше существование — преступление.

— Да.

— И ты просто... заплатил ему?

— Да.

— Почему?

Муаммар повернулся к ней. Его белые глаза — те глаза, которые видели, не видя — смотрели сквозь неё, куда-то вдаль.

— Потому что гордость — роскошь, — сказал он. — Роскошь, которую могут позволить себе те, кому нечего терять. У нас есть что терять. У нас есть цель. И если для достижения этой цели нужно заплатить жадному капитану и проглотить его оскорбления — мы заплатим и проглотим.

— Я не хочу глотать оскорбления.

— Я знаю. — Муаммар тронул коня. — Но ты научись. Или умрёшь. В этом мире — только два варианта.

Ульрика смотрела ему вслед несколько секунд. Злость всё ещё горела внутри неё — горячая, яркая, как угли в костре. Но она знала, что старик прав. Знала — и ненавидела эту правду.

Она тронула лошадь и поехала за ним.

Впереди, на горизонте, башня Варе пронзала небо — как обещание. Как угроза. Как ответ на вопросы, которые она ещё не задала.

Они ехали молча — долго, может час, может больше. Солнце поднималось всё выше, и тени становились короче, и башня Варе росла на горизонте, как дерево, которое тянется к небу.

— Вблизи города, — сказал Муаммар наконец, — лучше снова накинуть капюшон.

Ульрика посмотрела на него. Старик сидел в седле прямо, несмотря на усталость, и его лицо — изрезанное морщинами, высушенное годами — было неподвижным, как маска.

— Почему?

— Потому что я не знаю, что нас ждёт. — Муаммар помолчал. — Я давно не был в землях Далигарии. Очень давно. Тогда... тогда всё было иначе. Далигарийцы были другими. Они не

боялись эльфов. Не ненавидели их. Они были учёными, искателями знаний. Для них важна была истина, а не кровь.

— А теперь?

— Теперь — я не знаю. — Старик покачал головой. — Двести лет изоляции. Двести лет страха. Двести лет, когда весь мир за горами — враг. Это меняет людей. Меняет народы. Меняет всё.

Он повернулся к ней, и в его белых глазах было что-то, чего Ульрика не видела раньше. Тревога? Страх? Или что-то другое — что-то, чему она не могла дать названия?

— Я боюсь, — сказал он, — что Варил тоже пошёл по пути ненависти. Как тот капитан. Как его судья-администратор. Как весь остальной мир.

— Но капитан сказал, что Варил принимает всех.

— Капитан сказал много чего. — Муаммар сухо усмехнулся. — Люди говорят одно, а делают другое. Это одно в мире не меняется.

Ульрика молчала. Она думала о словах капитана — о «крайних землях», о «беженцах», о том, как он произнёс слово «всех».

— Крайние земли, — сказала она. — Он говорил о Далигарии?

— Да. Только о Далигарии. — Муаммар кивнул. — Для них мир заканчивается здесь. За хребтом Руиза — ничего. Пустота. Может быть, орки. Может быть, смерть. Но ничего, что имеет значение.

— Но мы пришли оттуда. Из-за гор.

— Мы — редкое исключение. Простые солдаты знают, что через хребет проходит дорога и что за ним живут орки. Но о странах дальше пустошей, о Карфагене и Сардонии знают лишь те, кто видел старые карты или читал древние книги. Для остальных дорога начинается в пустоте и ведёт в страх.

Ульрика посмотрела назад — туда, откуда они пришли. Горы темнели на горизонте, и за ними — за ними был целый мир. Карфаген. Сардония. Масиаф. Всё, что она знала. Всё, от чего бежала.

И здесь, в Далигарии, об этом мире почти никто не знал.

— Странно, — сказала она. — Жить, не зная, что там — за стеной.

— Не странно. — Муаммар покачал головой. — Обычно. Большинство людей живут именно так. В своих маленьких мирах, ограниченных горами, реками, страхами. Они не хотят знать, что там, за границей. Не хотят думать о том, что мир больше, чем их деревня, их город, их страна.

— А ты?

— А я... — Старик помолчал. — Я слишком много видел. Слишком много знаю. Иногда я завидую тем, кто не знает. Тем, для кого мир прост и понятен. Тем, кто может спать спокойно, не думая о том, что творится за горизонтом.

Он тронул коня, и они поехали дальше.

Башня Варила росла впереди — всё выше, всё ближе. Скоро они увидят стены. Скоро узнают, что ждёт их в городе, который закрывает небеса.

Глава IV: То, что за Красными горами

За Красными горами лежали Белые степи.

Владимир увидел их на третий день пути — когда тропа вывела его на перевал, и мир внизу раскрылся, как книга, страницы которой были написаны ветром и травой. Степи тянулись до горизонта и дальше, за горизонт, в ту бесконечность, которую человеческий глаз не мог охватить. Они были белыми — не от снега, хотя снег здесь тоже лежал местами, а от травы. Ковыль — серебристый, седой, колышущийся под ветром, как море, — покрывал землю сплошным ковром, и когда солнце падало на него под определённым углом, он сиял, как расплавленное серебро.

Красота. Страшная, пустая красота места, где человек — ничто.

Владимир стоял на перевале и смотрел. Он был один — совсем один, впервые за долгое время. Урман был мёртв. Борша так и не нашёлся. Ильдрия была где-то впереди, в крытой повозке, чей след уже остывал. Муаммар и эльфийка, ехавшая с ним, остались далеко, в другой части мира. Никого. Только он, и горы, и степи, которые ждали внизу.

Он начал спуск.

Белые степи были территорией кочевников.

Владимир знал о них — по слухам, по рассказам, по обрывкам историй, которые слышал в тавернах и на рынках. Кочевники — народ без городов, без границ, без того, что оседлые люди называли цивилизацией. Они жили в сёдлах, рождались в сёдлах, умирали в сёдлах. Их дома были шатрами, которые можно было свернуть за час и перевезти на новое место. Их богатство измерялось лошадьми и овцами. Их закон был простым: сильный берёт, слабый отдаёт.

Карфаген ненавидел их.

Империя, которая покорила половину известного мира, которая раздавила королевства и халифаты, которая превращала свободных людей в рабов одним росчерком пера, — эта империя не могла справиться с кочевниками. Не потому, что они были сильнее — они не были. Не потому, что они были умнее — они не были и этого. Просто... их нельзя было поймать.

Легионы Карфагена маршировали в степи — и не находили никого. Кочевники уходили, растворялись в бесконечности травяного моря, как соль растворяется в воде. Легионы строили крепости — кочевники обходили их стороной. Легионы перекрывали источники воды — кочевники находили другие. Это была война без фронта, без битв, без победы и поражения. Война на истощение.

И кочевники проигрывали.

Медленно, по капле, год за годом. Карфаген не мог победить их в открытом бою — но мог задушить. Перекрыть торговые пути. Отравить колодцы. Сжечь пастбища. Убивать не воинов — а скот, от которого зависела жизнь племён. Это была грязная война, война без чести и славы, но Карфаген не искал ни того, ни другого. Карфаген искал победу. Любой ценой.

Владимир видел следы этой войны — пока спускался с гор, пока шёл через предгорья. Сожжённые шатры, почерневшие от огня. Скелеты лошадей, белеющие на солнце. Могильные курганы — маленькие, поспешные, сложенные из камней, которые едва прикрывали тела. И — самое страшное — тишина. Тишина там, где должна была быть жизнь.

На пятый день он нашёл место для ночлега.

Выступ на склоне горы — последней горы перед степью, той границе между мирами, которую он собирался пересечь завтра. Выступ был небольшим, но защищённым от ветра с трёх сторон, с видом на степь, которая расстилалась внизу, как карта, нарисованная самой землёй.

Владимир развёл костёр.

Это было рискованно — огонь виден издалека, особенно ночью, особенно в степи, где нет ничего, что могло бы его скрыть. Но ему было всё равно. Холод пробирал до костей, а он устал. Устал идти. Устал думать. Устал быть.

Пламя занялось — сначала неохотно, потом увереннее. Владимир сидел перед ним, протянув руки к теплу, и смотрел на огонь. На то, как он пляшет между камнями. На то, как искры взлетают вверх, к звёздам, и гаснут, не долетев.

Он думал об Урмане.

О том, как они сидели вот так же рядом — на крыше той проклятой таверны в Ара-Вайне. О том, как Урман ругал Карфаген, ругал землевладельца, ругал весь мир, который был к нему несправедлив. О том, как стрела вошла в его затылок — беззвучно, внезапно, без предупреждения. О том, как он упал — и Владимир не успел его поймать.

Он думал о деревянной лошади.

Она лежала в его сумке — маленькая, грубо вырезанная, единственное, что осталось от человека, который был ему другом. Владимир достал её и повертел в руках. Дерево было тёплым от его тела, гладким от прикосновений — прикосновений Урмана, который носил её с собой годами.

Кто вырезал эту лошадь? Отец, которого Урман никогда не видел? Мать, которую он потерял? Кто-то, кто любил его, когда он был ребёнком, когда мир ещё не успел его сломать?

Владимир не знал. Никогда не узнает.

Он положил лошадь обратно в сумку и посмотрел на степь.

Белая трава колыхалась под ветром — даже ночью, даже в темноте, он видел это движение, это бесконечное, гипнотическое движение, как будто степь дышала. Звёзды висели над головой — тысячи, миллионы звёзд, ярче, чем он видел когда-либо, потому что здесь не было ничего, что могло бы затмить их свет.

Он был один.

Совсем один в мире, который не замечал его существования.

И впервые — впервые за долгое время — он позволил себе почувствовать это. Не отгонять, не прятать, не заливать злостью или действием. Просто почувствовать.

Одиночество.

Оно было холодным — холоднее ветра, который дул с гор. Оно было тяжёлым — тяжелее камней, которые он складывал на могилу Урмана. Оно было пустым — пустее, чем степь, которая лежала перед ним.

Но он не умер от него.

Это было важно. Это было единственное, что было важно сейчас.

Он не умер.

Владимир лёг у костра, завернувшись в плащ Урмана — тяжёлый, пахнущий дымом и памятью. Закрыв глаза. И впервые за много дней — уснул.

Утром пошёл дождь.

Владимир проснулся от холода — того особого холода, который приходит, когда вода просачивается сквозь одежду и добирается до кожи. Костёр давно погас, превратившись в кучку мокрого пепла. Небо над головой было серым, тяжёлым, как свинцовая крышка, и из него сыпалась морось — не дождь даже, а что-то среднее между дождём и туманом, пропитывающее всё вокруг.

Он сел, протирая глаза.

И замер.

Они стояли вокруг него — молча, неподвижно, как статуи. Двенадцать всадников, образовавших кольцо, из которого не было выхода. Их лошади были низкорослыми, мохнатыми, с глазами, которые смотрели на Владимира с тем же выражением, что и их хозяева. Сами всадники были одеты в меха и кожу, с луками за спинами и кривыми саблями на поясах. Их лица — обветренные, тёмные от солнца и ветра — были непроницаемыми.

Кочевники.

Владимир не двинулся. Не потянулся к мечу — он лежал в двух шагах, у потухшего костра, и достать его было невозможно. Не попытался бежать — бежать было некуда. Он просто сидел и смотрел на них, а они смотрели на него.

Один из всадников выехал вперёд. Он был старше остальных — или казался старше, с сединой в чёрных волосах и шрамом, который тянулся от виска к подбородку, рассекая левую щеку. Его глаза — узкие, тёмные, как у Урмана — смотрели на Владимира оценивающе.

— Ты не похож на солдата Карфагена, — сказал он.

Голос его был низким, с акцентом, который Владимир не мог определить. Не карфагенский. Не сардонский. Что-то другое — что-то из этих степей, из этого мира, который был так далёк от всего, что он знал.

— Я не солдат Карфагена, — ответил Владимир.

— Тогда кто?

Владимир помолчал. Он мог соврать — придумать историю, которая звучала бы убедительно. Но что-то в глазах этого человека говорило ему, что ложь будет ошибкой. Что этот человек видит ложь так же ясно, как видит дождь, который падает с неба.

— Беглый раб, — сказал он. — Из Сардонии. Потом — из Ара-Вайна.

— Ара-Вайн? — Главный кочевник чуть наклонил голову. — Город в Красных горах?

— Да.

— Что ты делал там?

— Искал человека. Не нашёл. — Владимир пожал плечами. — Зато обокрал землевладельца. Карфагенца. Он был не рад.

Тишина. Кочевники переглядывались — быстро, почти незаметно. Что-то в словах Владимира их заинтересовало. Или насторожило. Он не мог понять — что именно.

Главный кочевник усмехнулся — одними губами, без веселья.

— Обокрал карфагенца, — повторил он. — Храбро. Или глупо. Иногда это одно и то же.

— Иногда.

— Двумя днями ранее, — продолжал кочевник, — мой отряд разгромил карфагенский легион. Недалеко отсюда, в ущелье у Трёх Пальцев. — Он указал рукой на юг. — Сто моих воинов против пятисот легионеров. Большая часть карфагенцев сбежала. Те, кто не сбежал... — Кочевник не закончил фразу.

Владимир кивнул. Он понимал, что это значит.

— Теперь мои отряды патрулируют местность, — сказал кочевник. — Ищем тех, кто сбежал. Приказ — не щадить никого.

— Никого?

— Никого, кто носит цвета Карфагена. Никого, кто служит империи. Никого, кто может быть врагом.

Он помолчал.

— Ты можешь быть врагом.

— Могу, — согласился Владимир. — Но не являюсь.

— Докажи.

Слово повисло в воздухе — тяжёлое, как камень. Владимир смотрел на кочевника, и кочевник смотрел на него, и между ними была только морось, которая падала с неба, и молчание, которое становилось всё гуще.

— Как? — спросил Владимир.

— Это твоя проблема, не моя. — Главный кочевник положил руку на рукоять сабли. — У тебя есть что-то, что докажет твои слова? Документы? Письма? Что-нибудь?

Владимир покачал головой.

— Ничего.

— Тогда у нас проблема.

— Нет. — Владимир поднял голову и посмотрел кочевнику прямо в глаза. — У нас нет проблемы. Вы можете меня убить. Мне терять нечего.

Тишина.

Кочевник долго молча изучал его, словно пытался понять увиденное. Потом — медленно, очень медленно — он вытащил саблю из ножен.

Клинок был кривым, тонким, с узором на стали, который напоминал текущую воду. Он блестел даже в сером свете пасмурного утра — тем особым блеском, который бывает только у оружия, которое хорошо заточено и часто используется.

Кочевник спешился — одним плавным движением, как спешиваются люди, которые провели в седле всю жизнь. Подошёл к Владимиру. Остановился в шаге от него.

И приставил клинок к его шее.

Сталь была холодной. Холоднее дождя, холоднее утра, холоднее всего, что Владимир чувствовал раньше. Он ощутил её острё — там, где пульсировала жилка, там, где один неверный нажим мог закончить всё.

Но он не отвёл глаз.

Он смотрел на кочевника — прямо, не мигая, с тем выражением, которое было не вызовом и не покорностью. Просто — принятием. Принятием того, что будет.

— Ты не боишься, — сказал кочевник. Это не было вопросом.

— Нет.

— Почему?

— Потому что страх — для тех, кому есть что терять.

Кочевник молчал. Его глаза — узкие, тёмные — изучали лицо Владимира. Искали что-то. Ложь? Страх? Слабость?

Не находили.

Дождь падал на них — на Владимира, на кочевника, на клинок, который всё ещё упирался в горло. Капли стекали по стали, по коже, по волосам. Мир вокруг них словно замер — ждал, что будет дальше.

Владимир продолжал смотреть.

Кочевник убрал меч.

Движение было таким же плавным, как и то, которым он его достал — клинок скользнул обратно в ножны, и холод на шее Владимира исчез, оставив только память о нём. И что-то ещё — что-то, похожее на удивление. Он не ожидал, что останется жив.

Кочевник смотрел на него — всё так же пристально, всё так же оценивающе. Но что-то в его взгляде изменилось. Не стало теплее — нет, этот человек не был из тех, чьи взгляды теплеют. Но что-то... сдвинулось. Как будто Владимир прошёл какое-то испытание, о котором не знал.

— Есть ли у тебя смысл жизни? — спросил кочевник.

Вопрос был странным. Неожиданным. Не тем, что Владимир ожидал услышать от человека, который только что держал меч у его горла.

Он открыл рот, чтобы ответить.

И понял, что ответа нет.

Смысл жизни. Что это значит? Раньше — раньше, когда Урман был жив, когда они искали Боршу, когда впереди была цель — он мог бы сказать что-то. Выжить. Найти своё место. Стать кем-то. Но теперь?

Теперь он шёл на север, потому что не знал, куда ещё идти. Шёл, потому что остановиться означало умереть. Шёл, потому что движение было единственным, что у него осталось.

Это не смысл. Это просто... инерция.

Владимир молчал.

Кочевник ждал — терпеливо, без раздражения. Как будто молчание было таким же ответом, как слова. Может быть, даже более честным.

— Нет ответа, — сказал он наконец. Не вопрос — констатация. — Хорошо. Те, у кого есть ответ, обычно лгут. Себе или другим.

Он сделал шаг назад и посмотрел на своих воинов. Те сидели в сёдлах неподвижно, как и раньше, но что-то в их позах изменилось. Напряжение ушло. Руки больше не лежали на оружии.

— Я предлагаю тебе службу, — сказал кочевник, поворачиваясь обратно к Владимиру. — В рядах кхазаров. Моего народа.

— Службу?

— Война с Карфагеном. — Кочевник пожал плечами. — Патрули, засады, стычки. Ничего героического. Грязная работа, которую кто-то должен делать.

— И что я получу?

— Возможность собрать золото с тел павших. — Кочевник усмехнулся — впервые за весь разговор, и эта усмешка была волчьей, хищной. — Карфагенцы носят много золота. Особенно офицеры. Год службы — и ты можешь уйти богатым человеком.

Владимир смотрел на него. Мародёрство. Вот что ему предлагали. Обшаривать карманы мёртвых, снимать кольца с окоченевших пальцев, рыться в крови и внутренностях в поисках монет.

Он видел таких людей. В Масиафе. В Сардонии. Везде, где была война. Они приходили после битвы — как вороны, как шакалы — и забирали всё, что можно было забрать. Их не уважали. Их презирали. Но они были богаты.

— Нет, — сказал Владимир.

Кочевник поднял бровь.

— Нет?

— Я не готов заниматься мародёрством.

Тишина. Кочевники за спиной своего вождя переглянулись — быстро, почти незаметно. Кто-то хмыкнул. Кто-то покачал головой.

Главный кочевник смотрел на Владимира — долго, с выражением, которое было трудно прочитать. Удивление? Уважение? Или просто любопытство — как смотрят на зверя, который ведёт себя не так, как ожидалось?

— Гордость, — сказал он наконец. — У человека, которому нечего терять, всё ещё есть гордость. Интересно.

Он помолчал.

— Хорошо. Тогда другое предложение.

— Какое?

— Служба. Настоящая служба — не мародёрство. Сражайся с нами. Год. Один год. — Кочевник поднял палец. — Если выживешь — можешь просить у царя кхазаров Уйлега что хочешь.

— Что хочу?

— Что хочешь. — Кочевник кивнул. — Золото. Землю. Титул. Женщину. Что угодно, что в его власти дать. Таков закон кхазаров. Тот, кто служит год и выживает, получает право на одну просьбу. Одну, любую.

Владимир молчал. Он думал — о том, что ему предлагали, о том, что это значило, о том, чего он хотел.

Год. Год войны в степях, где каждый день мог стать последним. Год среди людей, которых он не знал, чей язык едва понимал, чьи обычаи были ему чужды. Год — а потом...

А потом — что?

Он не знал, чего хотел. Не знал, о чём просить. Не знал даже, доживёт ли до конца этого года.

Но это было что-то. Цель. Направление. То, чего у него не было ещё час назад.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Кочевник чуть наклонил голову — жест, который мог означать уважение. Или просто признание того, что вопрос был правильным.

— Тургай, — сказал он. — Сотник царя Уйлега. Командир этого отряда.

— Владимир.

— Владимир. — Тургай попробовал имя на вкус, как пробуют незнакомое вино. — Странное имя. Не карфагенское. Не сардонское.

— Норгородское.

— Далеко от дома.

— У меня нет дома.

Тургай кивнул — как будто это было именно тем ответом, которого он ждал.

— Тогда добро пожаловать в степь, — сказал он. — Здесь дом — там, где ты ставишь шатёр. И там, где стоят те, кто сражается рядом с тобой.

Он повернулся и пошёл к своей лошади. На полпути остановился и обернулся.

— Год, Владимир. Один год. Выживи — и сможешь просить что хочешь.

— А если не выживу?

Тургай усмехнулся — той же волчьей усмешкой, что и раньше.

— Тогда тебе будет всё равно.

Он свистнул. Один из всадников подвёл запасного коня — низкого, мохнатого, с короткими сильными ногами. К седлу были приторочены меховой плащ и пустой бурдюк.

— Собирай вещи, — сказал Тургай. — До стоянки полдня пути. Там поешь и узнаешь наши правила.

— А если я передумаю?

— Тогда вернёшь коня. — Тургай вскочил в седло. — Но сначала догонишь нас.

Кочевники двинулись в степь, на этот раз не спеша. Владимир затушил остатки костра, привязал сумку к седлу и забрался на коня. Животное недовольно мотнуло головой, но подчинилось поводьям.

Через несколько минут Владимир ехал следом за отрядом.

Впервые после смерти Урмана он был один — но уже не совсем.

Глава V: Дамаск

За несколько месяцев до гибели Урмана в Ара-Вайне Дамаск был городом, который никогда не спал.

Барабия — провинция Карфагена, одна из многих, — но Дамаск был её сердцем. Грязным, продажным, бьющимся сердцем.

Город был старым — старше Карфагена, старше империй, которые приходили и уходили, оставляя после себя только руины и легенды. Его улицы были узкими, кривыми, петляющими между домами, которые строились без плана, без порядка, просто вырастая один из другого, как грибы вырастают из гнилого дерева. Стены были белыми — побелёнными известью, которая трескалась и осыпалась под безжалостным солнцем, обнажая серый камень под ней. Крыши были плоскими, и на них сушилось бельё, и там же спали те, кому не хватило места внизу.

Днём Дамаск был рынком. Огромным, бесконечным рынком, где продавалось всё — от специй и шёлка до рабов и информации. Торговцы кричали на десятке языков, зазывая покупателей. Воры скользили в толпе, как рыбы в воде. Стража патрулировала главные улицы, но не заходила в переулки — в переулках действовали другие законы.

Ночью Дамаск становился чем-то другим.

Ночью открывались двери, которые днём были закрыты. Ночью зажигались огни в окнах, за которыми происходило то, о чём не говорили при свете солнца. Ночью власть переходила от стражи и чиновников к тем, кто правил городом по-настоящему.

Их было много — банд Дамаска. Десятки, может быть, сотни, если считать мелкие шайки, которые контролировали один переулок или один квартал. Они воевали друг с другом за территорию, за деньги, за власть. Они заключали союзы и предавали союзников. Они убивали и умирали — в тёмных переулках, в подвалах, в комнатах над тавернами.

Порт контролировали Сыновья Волны — бывшие моряки, контрабандисты, те, кто знал море лучше, чем собственную мать. Их вождь — одноглазый тилиец по имени Ворро — сидел в таверне у причала и решал, какие корабли разгрузятся, а какие — сгорят прямо в гавани.

Рынки были под Красными Ножам — гильдией воров, которая существовала так давно, что никто не помнил её начала. Говорили, что каждый карманник в городе платил им долю — или терял руку. Иногда — голову.

Нижний город — трущобы, где жили те, кому не повезло родиться богатыми — принадлежал Крысам. Они не были сильными, но были многочисленными, и их глаза и уши были везде. Информация — вот чем они торговали. Информация, которая иногда стоила дороже золота.

Но над всеми ними — над Сыновьями Волны, над Красными Ножам, над Крысами и десятками других — стоял один человек.

Кольм О'Дрисколл.

Он пришёл из Бругандии — с того далёкого острова на западе, где люди были рыжими, как огонь, и такими же непредсказуемыми. Никто не знал, как он оказался в Дамаске. Никто не знал, почему остался. Но все знали, чем он стал.

Королём борделей.

О'Дрисколл владел публичными домами по всему городу — от роскошных заведений в верхнем городе, где карфагенские чиновники и богатые торговцы платили золотом за час с женщиной, до грязных притонов в порту, где моряки тратили последние медяки на минуту забвения. Он владел девушками — сотнями девушек, купленных, украденных, сломанных. Он владел информацией — потому что в постели люди говорят то, о чём молчат везде. Он владел страхом — потому что те, кто переходил ему дорогу, исчезали. Просто исчезали, как будто их никогда не было.

Его люди были везде. Их узнавали издалека — по чёрным мешкам на головах, которые скрывали лица, оставляя только прорезы для глаз, и по длинным чёрным плащам, которые развевались на ветру, как крылья воронов. Они не говорили. Не угрожали. Просто появлялись — там, где нужно было напомнить, кто здесь главный. И этого было достаточно.

О«Дрисколла боялись. Даже те, кто его никогда не видел. Даже те, кто не был уверен, что он вообще существует — потому что он редко показывался на людях, предпочитая править из тени, как паук правит своей паутиной.

Но он существовал. И его власть была реальной.

Реальнее, чем власть карфагенского наместника. Реальнее, чем законы империи. Реальнее, чем что бы то ни было в этом городе, который никогда не спал.

Матеуш шёл по улицам Дамаска, и дым из его трубки поднимался вверх, смешиваясь с вечерним воздухом.

Трубка была старой — с потемневшим деревом и мундштуком, который он грыз зубами, когда думал о чём-то важном. Табак был эсталийским — дорогим, ароматным, с тем особым привкусом, который невозможно спутать ни с чем. Маленькая роскошь, которую он позволял себе, потому что в этом мире нужно за что-то держаться.

Ему было двадцать семь лет. Или двадцать восемь — он не был уверен, потому что никто не удосужился записать дату его рождения. Мать была полонкой из семьи, увезённой в рабство после падения Белостока семьдесят лет назад. В неволе родились уже два поколения, но дома продолжали говорить на родном языке. Она умерла, когда ему было шесть, и он помнил её смутно — запах хлеба, который она пекла, песни на языке, который он почти забыл, руки, которые обнимали его перед сном.

Отец был урартцем — с тех гор, которые лежали на востоке, за пустынями, за границами карфагенских карт. Он не знал отца — тот исчез до его рождения, оставив после себя только кровь, которая текла в жилах Матеуша, и черты лица, которые были слишком резкими, слишком чужими для этих мест.

Полукровка. Ничей. Человек без родины, без семьи, без того, что другие называли домом.

Он шёл по улице, которая вела от порта к рынку, и смотрел на людей вокруг. Торговцы, которые закрывали лавки на ночь. Женщины, которые спешили домой до темноты. Дети, которые играли в пыли, не зная и не желая знать, в каком мире им предстоит жить. Обычный вечер. Обычный город.

Обычная жизнь, которая не была его жизнью.

Матеуш затянулся табаком и выпустил дым через ноздри. Эсталийский — сладкий, густой, с нотками чего-то, что напоминало о море и далёких берегах. Он купил его сегодня утром, у торговца, который не задавал вопросов. Хороший торговец. Редкость в этом городе.

Он прошёл мимо таверны, из которой доносились смех и музыка. Мимо переулка, где двое мужчин о чём-то спорили, размахивая руками. Мимо угла, где стоял человек в чёрном плаще и чёрном мешке на голове, неподвижный, как статуя.

Человек О'Дрисколла.

Матеуш не посмотрел на него. Не замедлил шаг. Просто прошёл мимо — как проходят мимо стены или фонаря, как проходят мимо чего-то, что не касается тебя.

Пока не касается.

Он шёл дальше — в ту часть города, где его ждали. Где ждала работа. Где ждало то, чем он занимался последние десять лет своей жизни.

Дым из трубки поднимался вверх, и Матеуш думал о том, что будет завтра. О том, что было вчера. О том, что есть сейчас — в этот момент, на этой улице, в этом городе, который никогда не спал.

У Матеуша не было цели. Он считал себя таким же подонком, как те, кто убивает людей, не разбирая, хороши они или плохи. В состоянии опьянения он не различал лиц и наутро почти ничего не помнил. Оставались только цель и деньги.

Но стоило ли оно того?

Бесконечная резня началась около десяти лет назад, когда он убил своего владельца. Его имени Матеуш уже не помнил — только злобную улыбку, сменившуюся гримасой ужаса. С тех пор резня не прекращалась. Всегда находился лишний человек, которого задевал его кинжал. И что потом? Гора трупов? Овации посредников? Всё это — херня.

Ему нужен был смысл. Но где его искать?

— Суки, — выдохнул Матеуш.

Он не говорил: «Мне больно. Я одинок». Не говорил никому. Вообще говорил мало — если не считать разговоров с самим собой.

Пошёл дождь.

Ноги подогнулись, и Матеуш рухнул на мостовую, словно в него попал арбалетный болт. Грязная вода быстро пропитала одежду. Он перевернулся на бок и увидел в луже своё отражение — расплывшееся, перекошенное рябью.

— Посмотри на себя, небритое существо, — сказал Матеуш отражению. — Кем ты стал?

Лужа не ответила.

— Ты клялся не забывать лицо матери, — продолжил он, и голос сорвался на крик. — Обещал всё отдать, лишь бы помнить. Не отдал.

— А что ты готов отдать теперь? — спросил незнакомый голос.

Матеуш поднял голову.

— Иди на север, к пустошам орков, — сказал человек, стоявший над ним. — Там найдёшь ответ.

Аккуратная щетина, длинные волосы, железная рука. Матеуш ещё не знал, что незнакомца зовут Хасан.

Матеуш смотрел на него снизу вверх — из лужи, в которую упал, с дождём, который стекал по лицу, смешиваясь с чем-то, что могло быть слезами, а могло быть просто водой.

Человек стоял над ним — неподвижный, как скала. Его лицо было спокойным, почти равнодушным, но глаза — тёмные, глубокие — смотрели так, словно видели насквозь. Видели всё: и кровь на руках Матеуша, и пустоту в его душе, и ту боль, которую он прятал за цинизмом и табачным дымом.

Железная рука блестела в свете фонаря — мокрая от дождя, с каплями, которые стекали по металлическим сочленениям.

— Кто ты? — прохрипел Матеуш.

— Тот, кто знает, каково это — искать смысл на дне бутылки и в чужой крови. — Голос был низким, спокойным. — И тот, кто знает, что там его нет.

Матеуш попытался встать. Ноги не слушались — то ли от выпитого, то ли от чего-то другого. Он упал обратно в лужу, и грязная вода брызнула во все стороны.

— Откуда ты знаешь... — Он не закончил вопрос. Не смог.

— Откуда я знаю о твоей матери? — Хасан чуть наклонил голову. — Я не знаю. Ты сам себе это сказал. Я просто слушал.

Матеуш замер. Он говорил с собой. Как всегда. Как делал годами — потому что больше не с кем было говорить.

— Тогда зачем ты здесь?

— Потому что ты задал правильный вопрос. — Хасан присел рядом с ним — прямо в лужу, не заботясь о грязи и воде. — «Стоит ли оно того?» Большинство людей никогда не задают этот вопрос. Они просто живут. Убивают. Умирают. Не думая.

— И что? — Матеуш фыркнул. — Ты пришёл дать мне ответ?

— Нет. Ответ ты найдёшь сам. Я пришёл указать направление.

— Север. Пустоши орков. — Матеуш покачал головой. — Там смерть.

— Там — возможность. — Хасан встал. — Смерть везде. В Дамаске её не меньше, чем в пустошах. Разница в том, что здесь ты умираешь медленно, по кусочкам, каждый день. Там — у тебя будет шанс умереть за что-то. Или — жить за что-то.

Он протянул руку — живую руку, не железную.

Матеуш смотрел на неё. На эту руку, которая предлагала помощь. На этого человека, который появился из ниоткуда и говорил вещи, которые не должен был знать.

— Почему я должен тебе верить?

— Не должен. — Хасан пожал плечами. — Веришь ты или нет — твой выбор. Идёшь на север или остаёшься здесь — тоже твой выбор. Я не твой хозяин. Не твой отец. Не твой бог. Я просто человек, который увидел другого человека в луже и решил сказать ему то, что сам хотел бы услышать двадцать лет назад.

Пауза. Дождь падал на них — на Матеуша, на Хасана, на улицу, которая была пуста в этот час.

— Что там? — спросил Матеуш наконец. — На севере. В пустошах.

— Война. Боль. Смерть. — Хасан не отвёл глаз. — И люди, которые сражаются за что-то большее, чем золото. Люди, рядом с которыми ты можешь стать кем-то другим. Или умереть, пытаясь.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который я могу дать. Остальное — за тобой.

Хасан развернулся и пошёл прочь — по улице, сквозь дождь, в темноту.

Сделав несколько шагов, он остановился и посмотрел через плечо.

— И не прокури свою жизнь, небритое существо. Выше нос, брат.

Матеуш не успел ответить. Хасан шагнул за завесу дождя, и через мгновение улица была пуста — будто незнакомец растворился в ночи.

Матеуш ещё долго сидел в луже и смотрел туда, где он исчез.

Потом — медленно, с трудом — поднялся на ноги. Его трубка лежала в грязи, потухшая и мокрая. Он вытер её о плащ и спрятал в карман.

Север. Пустоши орков.

Он не знал, что найдёт там и найдёт ли вообще. Знал только одно: в Дамаске смысла не было. Здесь его ждала прежняя жизнь — очередная цель, очередная плата, очередное лицо, которое он не вспомнит утром.

Смерть ждала везде. Но впервые Матеуш задумался не о том, где умрёт, а о том, ради чего ещё способен жить.

Совет случайного прохожего был плохой причиной уходить на край света. Исчезновение случайного прохожего делало её немногим лучше.

Но это был знак. Или Матеушу отчаянно хотелось так думать.

В любом случае он его принял.

Глава VI: Лошадка

Степь не знала жалости.

Она не знала пощады, не знала милосердия, не знала тех слабостей, которые люди в городах называли добродетелями. Степь была учителем суровым и беспристрастным — она давала уроки один раз, и тот, кто не усваивал их с первого раза, не получал второго шанса. Его кости оставались лежать в траве, белея под солнцем, пока ветер и время не обращали их в прах.

Владимир усвоил все уроки.

Девять месяцев — двести семьдесят три дня, если считать точно, а он считал — прошли с того утра, когда Тургай приставил клинок к его горлу. Двести семьдесят три рассвета, которые он встречал в седле или на ногах, готовый к бою. Двести семьдесят три заката, которые он провожал, зная, что следующего может не быть. Двести семьдесят три ночи, когда сон приходил урывками, чутко, как приходит к зверю, который знает: хищники не дремлют.

В первую неделю кхазарские разведчики помогли ему искать след повозки Гандсурбала. У северной границы степи они нашли брошенное колесо и тело одного из охранников. Дальше следы смешались с путями кочевых племён и исчезли. Тургай сказал правду без утешения: один пеший чужак не пройдёт земли Костуни и не найдёт там никого. Владимиру нужны были язык, знание степи и люди, готовые идти за ним.

Поэтому он согласился на год службы. Каждый день после этого спрашивал себя, не купил ли будущий шанс ценой времени, которого у Ильдрии могло не быть.

И он изменился.

Изменился так, как меняется железо, когда его кладут в горн и бьют молотом, снова и снова, пока оно не становится сталью. Изменился так, как меняется река, когда она пробивает себе путь через камень — не силой удара, но постоянством, упорством, неsgiбаемой волей. Изменился так, как меняется человек, когда жизнь отнимает у него всё лишнее и оставляет только суть.

Его тело стало иным.

Исчезла та мягкость, что ещё оставалась в нём после Ара-Вайна — мягкость человека, который спал в постелях и ел горячую пищу. Теперь его мышцы были подобны канатам, свитым из жил и стали, кожа задубела от ветра и солнца, руки стали твёрдыми, как дерево, которое много лет стояло против бурь. Шрамы покрывали его тело — метки сабельных ударов, следы стрел, память о битвах, которые он пережил, когда другие пали.

Он научился двигаться иначе.

Не так, как двигаются городские жители — суетливо, бесцельно, тратя силы на лишние движения. Он двигался, как двигаются хищники — экономно, точно, с той особой грацией, которая приходит только к тем, чья жизнь зависит от каждого шага. Кхазары, выросшие в сёдлах, признавали его равным — он скакал так же, как они, стрелял из лука на полном скаку, мог провести в седле день и ночь, не жалуясь, не показывая усталости.

Но главное изменение было не в теле.

Главное изменение было в том, что скрывалось за глазами — в той глубине, куда не проникал взгляд постороннего. Там, где раньше была пустота, оставленная смертью Урмана, теперь было нечто иное. Не наполненность — нет, пустота никуда не делась. Но она перестала быть бездной, в которую он падал. Она стала пространством — пространством, которое он мог заполнить. Когда будет готов. Когда найдёт чем.

Среди воинов Тургая не было ему равных.

Это стало очевидно к исходу шестого месяца, когда отряд столкнулся с карфагенской конницей у Серых холмов. Бой был жестоким — кхазаров было меньше, и поначалу казалось, что им не выстоять. Но Владимир сражался так, как не сражался никогда прежде — словно что-

то проснулось в нём, что-то древнее и страшное, что-то, о чём он сам не подозревал. Он убил одиннадцать человек в тот день. Одиннадцать карфагенских всадников, каждый из которых был обучен убивать с детства. Он убил их — и вышел из боя без единой царапины.

После этого на него стали смотреть иначе.

Не как на чужака, которого приняли из милости. Не как на новичка, который ещё должен доказать свою ценность. На него смотрели так, как смотрят на вожака — с той смесью уважения и опаски, которая отличает взгляд воина, признающего превосходство другого.

Тургай заметил это первым.

— Ты не просто боец, — сказал он однажды вечером, когда они сидели у костра после очередной стычки. — Ты видишь то, чего не видят другие.

— Что я вижу?

— Поле боя. — Сотник смотрел на него своими тёмными глазами, в которых плясали отблески пламени. — Ты видишь его целиком. Не только врага перед собой — всех врагов. Не только свой клинок — все клинки. Ты видишь, как будет развиваться бой, ещё до того, как он начнётся.

Владимир промолчал. Он не знал, правда ли это. Не знал, откуда у него этот дар — если это был дар. Может быть, из крови отца, которого он не помнил. Может быть, из тех книг, которые он читал когда-то, в другой жизни, когда ещё верил, что знание способно изменить мир. Может быть — просто из боли, которая научила его смотреть на мир внимательнее, чем смотрят те, кому не приходилось терять.

Но Тургай был прав.

Он видел поле боя так, как художник видит холст — целиком, со всеми деталями, со всеми возможностями. Он знал, куда ударить, чтобы строй врага дрогнул. Знал, когда отступить, чтобы заманить противника в ловушку. Знал, как использовать местность, погоду, время суток — всё, что другие не замечали, считая несущественным.

К восьмому месяцу Тургай стал спрашивать его совета.

Не приказывать — спрашивать. Как равного. Как того, чьё мнение имеет вес. Это было неслыханно — чужак, пришелец, человек без роду и племени, и сотник царской гвардии советует с ним, как с товарищем.

Но воины не роптали.

Они видели то же, что видел Тургай. Они видели, как Владимир ведёт их в бой — и они побеждают. Видели, как он читает следы врага — и засада, которая должна была их погубить, сама становится ловушкой. Видели, как он стоит над телами павших карфагенцев — без торжества, без злорадства, просто с усталостью человека, который сделал то, что должен был сделать.

Белым его по-прежнему называл весь лагерь. Но те, кто сражался рядом, добавили другое имя — слово, которое на языке кхазаров означало одновременно «вождь» и «тот, за кем следуют». Его давали не по праву рождения, а по праву силы и мудрости.

Девять месяцев.

Владимир стоял на вершине холма и смотрел на степь, которая расстилалась перед ним — бескрайняя, седая, похожая на море, застывшее в мгновении между вдохом и выдохом. Солнце садилось на западе, окрашивая траву в цвета меди и крови, и тени ложились на землю, как пальцы великана, который пытается удержать уходящий день.

Оставалось три месяца.

Три месяца — и он сможет просить у царя кхазаров то, чего не мог добыть один: золото на дорогу и воинов, готовых пройти с ним за край степи.

Он знал, чего хотел. Не земли — ему негде было пускать корни. Не титула — имя на бумаге не откроет дорогу среди северных племён. Не богатства ради богатства.

Ему нужны были люди. Небольшой отряд, способный выследить Гандсурбала, освободить Ильдрию и добраться до Сунгирия. Там мог ждать Борша — или правда о его смерти.

Иногда Владимир думал, что строит слишком большой замысел на двух словах в дорожной книге и рассказе испуганной девушки. Иногда — что опоздал ещё в тот день, когда выбрал год службы вместо немедленной погони. Но теперь изменить прошлое было нельзя. Можно было лишь дожить до конца срока и не растратить то, ради чего он остался.

Степь научила его терпению.

Степь научила его ждать.

Ещё три месяца он будет ждать не ответа, а возможности действовать. Потом возьмёт то, что заслужил, и снова пойдёт на север.

Ночь опустилась на лагерь, как тяжёлое покрывало.

Костры догорали, превращаясь в груды тлеющих углей, и воины расходились по шатрам — усталые, молчаливые, несущие на плечах тяжесть прожитого дня. Завтра будет новый поход, новая стычка, новая кровь на клинках. Но это будет завтра. Сейчас — сейчас была ночь, и она принадлежала тишине.

Владимир сидел в своём шатре.

Шатёр был невелик — кусок войлока, натянутый на жерди, достаточный, чтобы укрыть одного человека от ветра и дождя. Внутри было темно, лишь слабый отсвет умирающего костра проникал сквозь щель у входа, бросая на стены тени, похожие на призраков. Пахло дымом, конским потом и той особой степной травой, которую кхазары подстилали под лежанки.

Он сидел неподвижно, скрестив ноги, и смотрел на свои руки.

Руки убийцы. Руки воина. Руки человека, который отнял жизни у стольких людей, что давно перестал считать. Они были покрыты мозолями — от сабли, от поводьев, от всего того, что приходилось держать, чтобы выжить. Шрамы белели на костяшках — память о боях, которые он выиграл, о врагах, которые пали.

Медленно, словно совершая священный ритуал, он потянулся к сумке.

Сумка лежала рядом — старая, потёртая, прошедшая с ним через пустыню, через горы, через степь. В ней было немного вещей — только то, без чего нельзя обойтись. Нож. Огниво. Моток верёвки. И ещё кое-что — на самом дне, завернутое в тряпицу, хранимое бережнее, чем золото.

Он достал это.

Деревянная лошадка лежала на его ладони — маленькая, грубо вырезанная, отполированная прикосновениями до тусклого блеска. Её грива была прорисована неумелой рукой — кто-то старался, кто-то вкладывал в эту работу любовь, которую не умел выразить иначе. Её глаза — две точки, выжженные раскалённым гвоздём — смотрели на мир с тем выражением, которое бывает у детских игрушек. Выражением вечного ожидания.

Владимир смотрел на неё.

Долго. Очень долго. Так долго, что тени на стенах успели сдвинуться, и угли за пределами шатра успели подёрнуться пеплом, и звёзды за войлочной крышей успели проделать часть своего извечного пути по небосводу.

Он смотрел — и видел не лошадку.

Он видел руки, которые её вырезали. Чьи это были руки? Отца, который ушёл, не дождавшись рождения сына? Матери, которая хотела оставить ребёнку что-то на память? Кого-то другого — человека, чьё имя и лицо навсегда останутся тайной?

Он видел мальчика, который держал эту лошадку — давным-давно, когда мир ещё не успел его сломать. Мальчика, который, может быть, играл с ней, представляя себя всадником, скачущим по бескрайним степям. Мальчика, который вырос и стал Урманом — человеком с раскосыми глазами и душой, изломанной годами рабства.

Он видел друга.

Того, кто прошёл с ним через трюм корабля и воды залива. Того, кто помогал нести умирающего Горана, хотя сам едва держался на ногах. Того, кто сидел рядом с ним на крыше таверны в Ара-Вайне, ругая Карфаген и весь несправедливый мир.

Того, кто умер, не договорив фразы.

Владимир сжал лошадку в кулаке — не сильно, чтобы не сломать, но достаточно, чтобы почувствовать её. Почувствовать дерево, тёплое от его тела. Почувствовать связь — тонкую, почти неосязаемую — с человеком, которого больше не было.

— Я помню, — сказал он.

Слова упали в тишину шатра, как камни падают в глубокий колодец. Никто не слышал их. Никто не должен был слышать.

— Я помню тебя. Помню всё.

Он говорил с мёртвым — он знал это. Знал, что Урман не услышит, не ответит, не кивнёт в знак того, что понял. Мёртвые не слышат. Мёртвые не отвечают. Мёртвые просто уходят — в ту темноту, из которой нет возврата.

Но ему нужно было сказать это. Нужно было произнести вслух — хотя бы раз, хотя бы здесь, в темноте шатра, где никто не видел и не судил.

— Я не забыл.

Он разжал кулак и снова посмотрел на лошадку.

Она лежала на ладони — такая же, как и минуту назад. Такая же, как и девять месяцев назад, когда он нашёл её в сумке Урмана. Такая же, как и много лет назад, когда неведомый мастер вырезал её из куска дерева для ребёнка, чьё имя история не сохранила.

Маленькая деревянная лошадь.

Единственное, что осталось от человека.

Владимир бережно завернул её в тряпицу и положил обратно на дно сумки. Туда, где она будет в безопасности. Туда, где он сможет найти её снова — когда ему понадобится вспомнить. Когда ему понадобится почувствовать, что он не совсем один.

Он лёг на лежанку и закрыл глаза.

Сон пришёл не сразу — он редко приходил сразу. Сначала были мысли, кружащиеся в голове, как листья в осеннем ветре. Потом — образы, смутные, расплывающиеся на границе яви и сна. Потом — темнота, мягкая и глубокая, принимающая его в свои объятия.

И где-то там, в этой темноте, мальчик скакал на деревянной лошадке по бескрайней степи.

Полог шатра шевельнулся.

Владимир открыл глаза мгновенно — так, как научила его степь, где промедление в секунду могло стоить жизни. Его рука метнулась к сабле, лежавшей рядом с лежанкой, пальцы сомкнулись на рукояти.

— Господин.

Голос был тихим, женским, с той особой мелодичностью, которую Владимир слышал лишь однажды — в голосе Ульрики, эльфийки, которую он видел рядом с Муаммаром. Он отпустил саблю и приподнялся на локте.

В проёме стояла девушка.

Свет от тлеющих углей падал на неё сбоку, высвечивая тонкие черты лица — слишком тонкие, слишком правильные для человека. Её волосы были тёмными, длинными, заплетёнными в косу, которая спускалась ниже пояса. Её глаза — огромные, миндалевидные — казались чёрными в полумраке, но Владимир знал, что при свете дня они будут зелёными или карими, как у всех лесных эльфов. Её уши — заострённые, выдающие кровь — были почти скрыты волосами, но не совсем.

Рабыня. На её шее был ошейник — тонкий, кожаный, с металлической бляхой, на которой был выбит знак Тургая.

Ей было лет двадцать — или около того, с эльфами трудно было сказать точно. Они старели медленнее людей, и девушка, которая выглядела на двадцать, могла прожить вдвое больше.

— Мне приказано принести чай, — сказала она, и в её руках Владимир увидел глиняный кувшин и чашку — грубую, походную, из тех, что кхазары возили с собой в седельных сумках.

Он смотрел на неё несколько секунд — молча, не двигаясь. Потом кивнул.

— Войди.

Девушка скользнула внутрь — бесшумно, как тень. Она двигалась так, как двигаются те, кто привык не привлекать к себе внимания. Кто научился быть незаметным, потому что незаметность — это выживание.

Она опустила на колени у его лежанки и начала наливать чай. Её движения были точными, отработанными — движениями человека, который делал это тысячу раз.

— Как тебя зовут? — спросил Владимир.

Она подняла на него глаза — быстро, удивлённо, как будто не ожидала вопроса.

— Макария, господин.

— Макария, — повторил он. — Сядь рядом.

Она замерла. В её глазах мелькнуло что-то — страх? настороженность? — но она послушалась. Отставила кувшин и села рядом с лежанкой, сложив руки на коленях, опустив глаза.

Владимир смотрел на неё. Потом — медленно, словно принимая решение — потянулся к сумке. Достал тряпицу. Развернул.

Деревянная лошадка лежала на его ладони — маленькая, потемневшая от времени, с глазами-точками, которые смотрели в никуда.

— Знаешь ли ты, чей это конь?

Он не знал, зачем спросил. Не знал, чего ожидал услышать. Может быть, ничего — просто слова, просто разговор, просто желание нарушить тишину, которая давила на плечи, как каменная плита.

Макария подняла глаза.

Она посмотрела на лошадку — и её лицо изменилось. Изменилось так, как меняется небо перед грозой — мгновенно, полностью, необратимо. Кровь отхлынула от её щёк, губы приоткрылись, глаза расширились.

— Где... — Её голос сорвался. Она сглотнула и попробовала снова. — Где вы это взяли?

Владимир не ответил. Он смотрел на неё — на её лицо, на её глаза, на её руки, которые дрожали.

— Я сделала его, — прошептала Макария. — Много лет назад. Для... для моего друга.

Мир вокруг Владимира замер.

Звуки исчезли — треск углей, шелест ветра, далёкое ржание лошадей. Остались только слова, которые она произнесла, и то, что за ними стояло.

— Для друга, — повторил он. Голос его был ровным, но что-то в нём изменилось. Что-то, что заставило Макарию вздрогнуть.

— Да. — Она смотрела на лошадку так, как смотрят на призрака из прошлого. — Его звали Урман. Мы... мы росли вместе. В степях, на востоке. Его мать была из моего народа, отец — из кочевников. Нас разлучили, когда мне было двенадцать. Работоторговцы. Я думала... я думала, он погиб.

Владимир сидел неподвижно.

Он слышал её слова — каждое слово, каждый звук — и не мог поверить в то, что слышал. Это было невозможно. Это было безумием. Это было...

Судьба?

Случайность?

Насмешка богов, в которых он не верил?

— Урман, — сказал он.

Его голос был хриплым, чужим. Он не узнавал его — как не узнают собственное отражение в мутной воде.

— Вы знали его? — Макария подалась вперёд. В её глазах было что-то — надежда? страх? мольба? — Вы знали Урмана? Где он? Что с ним? Он жив?

Владимир смотрел на неё.

На эту девушку, которая вырезала деревянную лошадку для мальчика много лет назад. На эту рабыню, которая пронесла память о друге через годы и расстояния. На этого человека — единственного человека в мире, который знал Урмана до того, как мир его сломал.

Он открыл рот, чтобы ответить.

И не смог.

Слова застряли в горле — комом, который невозможно было проглотить или выплюнуть. Он хотел сказать правду. Хотел рассказать о корабле, о побеге, о пустыне. О том, как они шли вместе, как сражались вместе, как Урман стал ему братом — не по крови, но по чему-то большему.

О том, как стрела вошла в его затылок на крыше таверны в Ара-Вайне.

О том, как он похоронил его на склоне горы, под грудой камней, с видом на долину.

О том, как деревянная лошадка — вот эта самая лошадка, которую она вырезала своими руками — оказалась единственным, что осталось от человека.

Но слова не шли.

Макария смотрела на него — ждала, надеялась, молила взглядом о том, чтобы ответ был хорошим.

И Владимир понял, что должен сказать ей правду.

Как бы больно это ни было.

Тишина висела между ними — тяжёлая, густая, как туман над рекой в предзвездный час.

Владимир смотрел на Макарию, и она смотрела на него, и в её глазах — в этих огромных, эльфийских глазах — надежда медленно угасала. Она видела что-то в его лице. Видела ответ ещё до того, как он произнёс хоть слово.

— Он мёртв, — сказал Владимир.

Три слова. Простые. Окончательные. Слова, которые нельзя было взять назад.

Макария не вскрикнула. Не заплакала. Не упала в обморок, как падают женщины в историях, которые рассказывают у костров. Она просто... замерла. Как замирает зверь, когда стрела входит в его тело — ещё не понимая, что случилось, ещё не чувствуя боли, но уже зная, что что-то изменилось навсегда.

— Как? — прошептала она.

Владимир закрыл глаза. Открыл снова.

— Стрела, — сказал он. — В затылок. Он не успел ничего понять. Не успел почувствовать боли. Он просто... — Голос его дрогнул. Владимир собрался с силами. — Он просто ушёл. Мгновенно.

Макария молчала. Её руки, сложенные на коленях, сжались в кулаки — так сильно, что побелели костяшки. Её губы были плотно сомкнуты, как будто она боялась, что если откроет рот — из него вырвется крик, который невозможно будет остановить.

— Расскажите мне, — сказала она наконец. Голос её был тихим, но твёрдым. — Расскажите мне о нём. О том, каким он был. О том, что случилось.

И Владимир рассказал.

Он рассказал о корабле — о трюме, где они познакомились, о низкорослом боцмане, о побеге через ночное море. Рассказал о пустыне — о Горане, который умер на руках у них обоих,

о караване работоторговцев, о городе Аль-Касар, который они приняли за спасение. Рассказал об Ара-Вайне — о поисках Борши, о таверне, о том вечере, когда всё пошло не так.

Владимир не стал делать Урмана лучше, чем тот был. Рассказал о мальчишке-воре, которого Урман продолжал бить, когда тот уже не сопротивлялся. О пьяной драке с Гандсурбалом — о том, как вид ошейника и слово «собственность» вернули Урману ярость раба и он перестал понимать, кого бьёт. Это не оправдывало его, но без этого получился бы не человек, а удобная память.

Рассказал и о другом.

О том, как Урман делился последним куском хлеба в пустыне. Как подхватил Горана с другой стороны и нёс, хотя сам едва держался на ногах. Как говорил о свободе — с таким огнём в глазах, что, казалось, весь мир мог от него загореться.

О том, каким человеком был Урман. Не идеальным — сломанным, измученным, несущим раны, которые не заживают. Но живым. Настоящим.

Тем, кого стоило помнить.

Когда он закончил, небо за пологом шатра уже начало сереть. Ночь уходила, уступая место рассвету, и где-то в лагере закричал петух — единственный петух на весь отряд, которого держали не ради яиц, а ради этого крика, возвещающего начало нового дня.

Макария сидела неподвижно. По её щекам текли слёзы — беззвучно, как течёт вода по камню. Она не вытирала их. Не пряталась. Просто плакала — открыто, честно, так, как плачут те, кому нечего скрывать.

— Спасибо, — сказала она.

— За что?

— За то, что вы были с ним. — Она подняла на него глаза — мокрые, покрасневшие, но живые. — За то, что он не умер один. За то, что вы сохранили это.

Она протянула руку к деревянной лошадке, которая всё ещё лежала на ладони Владимира. Её пальцы коснулись дерева — осторожно, нежно, как касаются чего-то священного.

— Я вырезала её для него, когда нам было по восемь лет, — сказала она тихо. — Он хотел коня. Настоящего коня, как у взрослых воинов. Но рабам не дают коней. И тогда я... — она всхлипнула, но продолжила, — я нашла кусок дерева и вырезала. Плохо вырезала, криво. Но он... он сказал, что это лучший конь в мире.

Владимир смотрел на неё. На эту девушку, которая помнила мальчика, которым был Урман. Которая любила его — той детской, чистой любовью, которая не знает корысти и расчёта.

— Возьми, — сказал он.

Он протянул ей лошадку — просто, без колебаний. Как будто это решение далось ему легко. Как будто не было девяти месяцев, когда эта игрушка была единственной нитью, связывающей его с прошлым.

Макария отшатнулась.

— Нет, — сказала она. — Нет, я не могу.

— Можешь.

— Это ваше. Он оставил это вам.

— Он не оставлял. — Владимир покачал головой. — Я нашёл её в его вещах. После. Он никогда не рассказывал мне о ней. Никогда не показывал. Просто носил с собой — как носят память о том, что было когда-то.

Он снова протянул лошадку.

— Возьми, — повторил он. — Ты сделала её для него. Она должна вернуться к тебе.

Макария не отрывала от него взгляда, будто пыталась понять то, чего нельзя выразить словами. Потом — медленно, как во сне — протянула руку и взяла лошадку.

Её пальцы сомкнулись на дереве, и она прижала игрушку к груди — так, как прижимают к груди ребёнка или умирающего.

— Спасибо, — прошептала она снова.

Владимир не ответил. Он смотрел на неё — на эту рабыню, на эту эльфийку, на эту женщину, которая оплакивала человека, потерянного дважды — и чувствовал что-то странное.

Пустота в его груди — та пустота, которая осталась после смерти Урмана — не исчезла. Она всё ещё была там, холодная и тёмная. Но что-то в ней изменилось. Что-то сдвинулось.

Как будто он отдал часть своей боли.

Как будто разделил её с кем-то, кто мог понять.

Рассвет пробивался сквозь полог шатра — серый, холодный, пахнувший росой и степной травой. Новый день начинался, и где-то в лагере уже слышались голоса, топот копыт, звон оружия.

Но здесь, в этом шатре, время словно остановилось.

Два человека сидели друг напротив друга — незнакомец и рабыня, воин и эльфийка — связанные памятью о третьем, которого больше не было.

И этого было достаточно.

— Оставь меня.

Слова вышли тихими, но твёрдыми. Владимир не смотрел на Макарию — он смотрел на полог шатра, за которым серел рассвет, и его глаза были пустыми, усталыми, как глаза человека, который слишком долго нёс ношу, слишком тяжёлую для одних плеч.

Макария поднялась — бесшумно, как и вошла. Деревянную лошадку она прижимала к груди обеими руками, словно боялась, что кто-то отнимет.

— Господин...

— Иди.

Она помедлила у входа — один удар сердца, два. Потом склонила голову и выскользнула наружу, и полог шатра опустился за ней, отсекая её от Владимира, отсекая рассвет, отсекая весь мир.

Он остался один.

Тишина обняла его — мягкая, тяжёлая, похожая на воду, в которой можно утонуть. Он лёг на лежанку, закрыл глаза и почувствовал, как усталость — та усталость, которую он держал на расстоянии все эти месяцы — наконец накрыла его с головой.

Сон пришёл мгновенно.

Без перехода, без той зыбкой границы между явью и грёзой. Просто — темнота, а потом — свет. Яркий, золотой, тёплый свет, какого не бывает в степи, какого не бывает нигде в тех землях, которые он знал.

Он стоял на пляже.

Песок под его босыми ногами был белым — белым, как кости, как снег, как облака в летний полдень. Он был тёплым — нагретым солнцем, которое висело в небе, огромное и ласковое, совсем не похожее на то бледное светило, что освещало степь. Волны набегали на берег — лениво, неторопливо, с тем мягким шелестом, который напоминает о чём-то давно забытом.

Море было бирюзовым.

Владимир никогда не видел такого моря. Не видел таких пальм, которые росли вдоль берега, склоняясь к воде, как женщины склоняются к зеркалу. Не видел таких птиц — ярких, цветных, порхающих между ветвями, как живые драгоценности.

Это было место, которого не существовало. Место из снов. Место, где всё было так, как должно было быть — и никогда не было в настоящем мире.

И там, на берегу, сидел Урман.

Он сидел на песке, скрестив ноги, и смотрел на море. В его руке была чаша — простая, глиняная — и он пил из неё что-то, похожее на сок. Красный сок, густой, с мякотью, которая оставалась на губах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.